
Карен ИСРАЕЛЯН

НОЖ И КНИГА

Рассказ

Я, вообще-то, не писатель. Не инженер душ.

Мне отчет или справку состряпать — тяжелее, нежели прилагающееся к ним дельце повернуть. И хоть какое дельце-то.

Правду сказать, я и читатель — не читатель. Достоевский мне нравился, Федор Михалыч, было, а больше всего — Клим Самгин. Ну и кое-что, когда языки мне ученые люди объясняли, ухватил, да не запомнил, — а так...

Но то касательства к делу не имеет. А дело...

Дело было во Львове.

Из ночи в ночь снилось, как меня закалывают. Глаза, бывало, только сомкнешь, так сразу: все тусклое, и откуда ни возьмись — нож, лезвие, острие искрящееся рука сжимает всегда разная, но всегда нервная, рты — открытые и недобрые; то девчужка, то парень-студент, то старая карга, все — мне под ребра, к горлу, кто куда. Дался я им! Понять не мог: Андриюху-то стрельнули, земля ему пухом, в сердце и в голову — не шутка, а мне чего-то перья да перья мерещатся. Тьфу, не пойму.

Вот и тогда: брел, казалось, куда-то себе по надобностям, не трогал никого, дымил, голову не поднимал, под ботинки смотрел больше, а кругом — эти их батяры. На каждом — котелок, тройка, галстучек, на руке тросточка висит, покачивается, каждый ножичек левой рукой через поля шляпы подбрасывает, а указательным и большим пальцами правой за острие ловит — и все, не моргая, на меня тарашатся. Я нет-нет да и подниму глаза, неудобно же, люди все-таки. Иной раз кепку сдвинешь, другой — платком по лбу проведешь, а тут и они, и видишь: зрачки трескаются, и вот уже каждый ножичек за острие не обратно через шляпу ловко отправляет, а...

А проснулся в номере «Народной», в мятом, нечищеном костюме, мордой в «Курьер». Там, конечно, все по-старому: 21 октября 1933 года, Майлов убит, Джугай ранен, Мандзий выпрыгнул в окно, Лемик задержан. Без «Курьера» помнил. А как иначе? Видел. До скрежета.

Всего четыре фамилии, без Голуба даже. И без моей — Тонкобровенко.

Хорошо, что без моей. Мне-то — не тайна: гад не потому стрелял, что «возмездие» за «голод». И в Андриюху — не оттого, что Григория Палыча в лицо не знал. То осталось для газет, судей, присяжных и прочей генеральной публики. Он и дурачок, но на Андриюху шел с умыслом, а я у них значился следующим, однако зачем — рассказать не дозволительно никому. Углубишься — и самого быстренько углубят, метра так на три.

Три — вроде бы и мало, а достаточно. Бровью не водят — ни толстой, ни тонкой.

На три метра не хотелось, и на два, и на метр тоже. В Москву — хотелось.

Зевнув в «Курьер», потянувшись и поправив галстук, я смел шелестящую газету, правой рукой дотянулся до кепки, а левой подтащил к себе с прикроватной тумбы телефонный канделябр и в который раз за последние дни накрутил *важный номер*.

Каждый раз думалось, что по важному номеру дышали. Хотело ухо слышать стук трамвая или гудок таксомотора, чтобы убедиться — связь есть. А связи не было, но и трубку, сволочи, не клали.

— Петкевич! — орал я который день, сам себе осточертев. — Петкевич! Дидериш! Мне надо увозиться! Ау!

Потом дышал, сопел и скалился. Потом снова:

— Знаю же: перед тобой газета! Дидериш, где Дидериш? Место-время говори, скотина! Машину надо! Неотложно!

Навизившись с канделябром, хватал его — и прямо им о кровать. О мягкое, а то вдруг еще. Петкевич или не Петкевич, Дидериш или не Дидериш, но день был третий — надо было уже действовать.

Спускаясь в фойе, я под еканье сердца разминулся с гражданами полицейскими и уже нацелился было на дверь, как паскуда за стойкой свистнул и сделал характерный знак: *а монет дать не забыл?* Забыл, застыл. Как спины полицейские убрались наверх, так я подошел, порылся за пазухой, большим и указательным пальцами отсчитал: *на!* Паскуда, сложив руки, с отвращением рассмотрел гроши, поджал губу, помотал мерзким волосатым рылом и кивнул: *еще!*

Пришлось.

Опустел совсем карман, хоть общее мое положение тем ухудшилось несильно. Купил путь до двери, выбрался на угол, а там уж, как всегда в десятом часу утра: город из сажи с позолотой, хмельной дом на пивном доме, шагают друг на друга деловые люди, и вприпрыжку скачет от кабатчика батяр, расплескивая из горшка колбаски с пивом.

С какой стороны ни считай, идти было некуда. Когда некуда идти, идут либо на площадь Рынок, либо в кабак.

В кабак без грошей не стоило.

От холода я поднял ворот пиджака, натянул кепку на лоб и пошел Сикстутской. Думал, закуривать или нет, ведь и хочется, а может, внимание лишнее, как знать. Осмотрелся — закурил.

На плочке я остановился, где получше да почище, против ведер с яблоками и цветами, там баянист еще расхаживал частенько. Прислонился к стене, где наклеены Стенвик, Гарло и Гарбо. Взгляд специально устремил пониже и закурил снова. Беспроигрышно: сколько я стоял, никто меня из мимо проходивших не заметил: кому же надо замечать меня, когда рядом поклеены Стенвик, Гарло и Гарбо?

Заметила одна — торговка яблоками.

— Чего стоишь-то без толку? — спросила она меня по-польски. — Купил бы вот хоть яблоко.

— Бедные мы, — на таком же скорбном польском ответил ей я.

— А, — махнула она тонкой ладошкой. — Бери так! — и неожиданно кинула в меня единицей своего товара — первый и последний гостеприимный жест, что видел я от всего Львова, да и тот она другой рукой уравнивала, воткнув в разделочную доску маленький фруктовый ножик.

— Благодарю сердечно, — откликнулся я, стараясь не особо выглядывать из-под козырька (оказалось: симпатичная), потер зеленую кислятину о шерстяной лацкан и довольно хрумкнул. Яблоко — да с табаком!

— Все одно: что-то плохо берут последнее время, — продолжила она, как ее оборвали: стали подходить и брать.

Часы на башне ратуши отстукивали десять.

В сложившуюся скоро очередь затесался одноногий бедолага на костылях. Почему-то он сразу привлек мое рассеявшееся, но мигом собравшееся внимание. Не зря:

он яблок набрал, рассовал их по карманам шинели, принялся платить — и что-то пошло не так, зазвенели монеты по брусчатке. Я, конечно, тут как тут, огрызок выбросил, прилежно все пособирал и с улыбкой протянул, но кое-что между запястьем и манжетой поприжал (у моего пиджака рукава были просторные, а у рубашки — плотные, то, что надо).

Прощавшись с пани торговкой, паном одноногим и трио выдающихся артисток, я от греха подальше переместился к зданию ратуши. Оттуда неспешным шагом до черной каменицы прогулялся, там заметил статую, именуемую Адонисом, и решил, что рядом с ним всяко будет мне спокойней и удобней: с виду тот Адонис — человек хороший, не то, что Петкевич.

Вновь за пазухой перестало пустовать. Хотя общее мое положение улучшилось несильно.

Поглубже зарываясь в пиджак, с каждым выдохом пара я терял тепло. Смотрел на компанию ворон, похожих на ксендзов, и завидовал: они приспособлены, а мне и воздух здешний, казалось, не годился.

Смотрел — и вспомнилось вдруг, как летом, под конец Гран-при, посещал местный кабак с одной гарной пани под руку. Настроение мое было сомнительным, а пристрастие к водке — несомненным, так что пани меня вскоре покинула, какбрякнул я по пьяни ей что-то не то, и вниманием моим овладела пара за столиком у стены напротив, загараживавшая большую картину про зеленых тигров в оранжевых джунглях.

Она, одетая по довоенной еще моде, в маленькой шляпке с приподнятой сеточкой, обмахивалась веером с японскими волнами и чайками. Он польский граф, в шляпе с пером и багровой почему-то мантии поверх песочного костюма, неудачливый участник Гран-при и виртуоз... ножа.

На крохотной сцене люди в бабочках истязали инструменты, старательно исполняя до смерти надоевший мне фокстрот «Все для тебя». Никто не танцевал. Я придвинулся к стене, откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и, выдыхая дым, внося свой вклад в общую дымовую пелену, наблюдал за хохотушкой и гонщиком-фокусником.

Она, похоже, совсем перестала что-то говорить, только знай себе посмеивалась, работая веером и колыхая вуаль. Он безостановочно орудовал ножом, подбрасывая его то так, то сяк, заставляя его исчезать и появляться из ниоткуда, и на ее хихиканье, лишь иногда прорезаясь через фокстрот, звучно вставлял: «Позвольте вас пере-бить!»

Вдруг скотина официант уронил разом два пива и разновсякую закуску, в зеркале через два стола мелькнул невесть откуда заскочивший зайчик, воздушное течение фокстрота резко преломилось и так же резко выпрямилось, а в стену, в сантиметре от моего левого уха, вонзился на скорости тот самый графский нож.

«„Все для тебя“, — пронеслось в голове. — Он мне, конечно, очень до смерти, но это же еще не значит, что... Но вот — не надо!..»

С легким опозданием поняв, что произошло, я повернулся.

Орудие, держась острием за стену, дрожало. Легкое. Сталь. Лимонное дерево. Рукоять львом геральдическим украшена, но зверь хватке не мешает. Вызывает желание прикоснуться. Более того, вызывает уважение.

Прикоснулся же, подскочив, граф.

— Бога ради, простите, простите!.. — картинно расчувствовался он, прижав шляпу к груди. — Рука шальная, понимаете, скользнула. Вот так вот. Стыдно! Поверьте на слово: вышло совсем нечаянно!

Я хоть лица его, когда он возвращался к своему столу, не видел, но был уверен: гад посмеивался. Давно мне еще мать говорила: поляку никогда не верь...

Там, правда, иногда верил: куда ж от них было деваться?

Сидя у хорошего (не то что граф) человека Адониса, я только выкарабкался из глубоких дум, как в пяти шагах от меня группа ребятшек — почти все мальчуганы, одна девчущка — отняли что-то у младшего парнишки и толкнули его. Упал он чуть ли не в двух шагах от меня, заставив взлететь назойливых перекормленных голубей. Выглядел он еще гаже и оборванней, чем в его годы я.

Я помог ему подняться.

Он не плакал. Стал отряхиваться, будто до падения, голодранец, был сильно чист. Поколебавшись, нажаловался: отняли, гады, перочинный ножик!

— Звать как? — по-приятельски бросил я.

— Стефан, — сказал хмурый ребенок.

— Нож тебе зачем, Стефан? — поинтересовался я.

— Всякому большому нужен нож, — ответил он не без искринки в уголках смешных глазенок. — Я — большой.

— Ну уж, ну уж... Они-то, конечно, гадко поступают, но нож тебе... — начал я, а потом подумал, в карман слазил и достал монетку. — Хочешь? Мне бы записочку по одному адресу передать...

— А нож на нее купится?

— Нет. Однако... Если не только записку отнесешь, но и доставишь мне ответ, я тебе дам еще одну такую!

— А двух на нож хватит?

— Снова нет. Но на две меньше тебе собрать останется!

— Ла-адно, — согласился неохотно Стефан.

Быстро-быстренько достал я из кармана брюк бумажку с карандашом, накорябал воззвание о помощи, нужные координаты и важное мнение: «Петкевич — мразь, сволочь и последний гад», вместе с монеткой отдал послание Стефану — и он посеменил в сторону Гродзицких. Я проводил его взглядом, пока он не скрылся за аптекой Терлецкого. Подумалось: славный малый. Когда б не он — куда бы я?..

Настроившись на скучное ожидание, я закурил и встрепенулся от холода. Баянист добрел до «моей» части площади, и, будто навстречу ему, из сероватого неба вылезло солнце; никогда не любил, когда вроде бы и промозгло, а вроде бы и лучики тебе.

Взад-вперед проходили, как и всегда, люди самые различные: колбасники, цветочницы, ксендзы, униаты, водители, старухи и просто бездельники. Увидев компанию студентов со связками книг, я вдруг ощутил, что очухался от встряски последних дней и мог думать о чем-то, кроме спасения собственной шкуры. Понял я это потому, что вспомнил о книге баронессы Блажовской, которая, если не заинтересовались ею граждане полицейские, осталась лежать недочитанной на столе в моей комнате на втором этаже консульства.

Обычно я там ее и читал, когда кончал с бумагами и ничем более себя не мог занять, но несколько страниц успел прочитать в кабаках и кавярнях, когда того или иного гада ожидал. Ее мне посоветовал профессор истории Поперечнюк, человек ученый, которому регулярно доставлял я выписанные нашим руководством пенсии и гонорары, точнее — щедрую неофициальную их часть. Он был один из немногих, кто нисходил до разговоров со мной — человек важный, ученый, а без гонору, и так бывает. Хороший человек. Прямо как Адонис.

Как-то пожаловался я ему, что много в работе моей приходится ждать, время терять, пальцами чувствовать его текучий песок. Питьем да куревом всего не скоротаешь, а говорить с кем — лучше бы нет. Он и ответь: вас грамоте ж выучили и даже языку — книгу купили бы да почитали. Это всякий может.

Сначала идея мне не приглянулась, но потом, как-то раз пробегая по Батория мимо книжного с его завлекательной витриной, затормозил и подумал: почему бы и...

И купил: баронесса Блажовская, «Блуждающий нож». Твердый переплет, на обложке — чужак в пальто и шляпе, из-за угла стены наблюдающий за автомашиной, над которой висится колокольня Доминиканского собора, а за ним еще чужак, в пиджаке и перчатках, готовящийся на того с ножом. Я еще подумал: кто ж так делает?..

Я хоть и не читатель, а читал. На внутренней стороне обложки было написано, что баронесса — автор семнадцати романов о приключениях жолнера Кендзерского, грозы казаков; что переехала в Краков, но о родном Львове как писала, так и пишет, и — это уже не на обложке было, это ученый профессор Поперечнюк мне сообщил — с подъемом некоей дамы Агаты баронесса резко переключилась на острые сюжеты про всяких шпионов с погонями. В магазине на Батория было их много, даже на витрине, и на улицах и в кабаках о них, как о Гран-при, часто говорили.

Вот и здесь была такая: про человека, на которого свалилось ложное подозрение, разом сделавшее его интересным не только польской полиции, но и специальным службам Советского Союза и Германии, и который пустился от этого всего в бега. Я читал книгу как раз тогда, когда на первом этаже послышались выстрелы, а дальше лез уже в окно. Увлекательно было, как про Клима Самгина, но — как тут не в окно-то? Рук у меня две, а чтоб по трубе спускаться да еще книгу держать, никак не менее трех надобно.

Мало-помалу вспоминал я злоключения героя, шатавшегося по польским городам и весям, покуривая одну сигаретку за другой. Солнышко пригревало, шум жизни площади давно сделался незаметным, и я как будто в темноте и на ощупь прочитывал ту книжку заново, забыв об опасности, висящей надо мной. Расплывчато смотрел на всех и вся, а должен был — на всех и каждого по отдельности, прицельно.

Часы на башне ратуши принялись отстукивать одиннадцать, и взгляд мой заострился на приближающемся силуэте, который мигом превратился в Стефана. Уже на бегу он протягивал записку-ответ — то ли мне, то ли хорошему человеку Адонису. Записка-ответ гласила:

«Угол Святого Петра и Пекарской. Красная автомашина „фиат“ с подбитой правой фарой. 40 минут. Минутой позже — уезжаем». За подписью: «Мразь, сволочь и последний гад».

Я сразу подумал: *хорошо*, пускай хорошего было и не так уж много.

— Ну и что? — спросил меня Стефан.

— Хорошо! — воскликнул слишком громко я, выбросил окурок и протянул ему, как обещал, монетку.

Стефан поднес обе монетки к солнцу и посмотрел на них одним глазом. Встав, я изготавился бежать, но задержался:

— Знаешь что, Стефан...

— Что? — отвлекся он от своего вознаграждения.

— Нож не покупай, — сказал я, сам себе не веря. — Купи другое что-нибудь.

— Другое *что* что-нибудь? — спросил он с удивлением.

— Откуда мне знать? Что-нибудь, — с ноткой раздражения ответил я. — Другое какое. Хоть даже книгу.

С этими словами я оставил изумленного Стефана, хорошего человека Адониса и весь честной люд площади Рынок, а сам расстегнул пуговку пиджака и побежал к Сербской.

Львов — он такой, он город, который бега по себе не выносит.

Перейдешь на бег, как тут же и начнется чертовщина. Не только на улицах начнется, когда, скажем, некий здоровяк в залатанном пиджаке и допотопном картузе уронит перед тобой неприкрытый ящик столовых приборов, потому что ты дурак и на костел Святого Андрея засмотрелся, а внутри, в самой твоей голове.

Все люди: ладно б их было много или не было совсем, но их не было *почти!* «Почти» настолько, что начинало чудиться, будто все они тут по твою душу, и одеты сплошь так, как этих гадов печатают в газете, в кепках, самых дешевеньких костюмах и с высеченными из гранита рожами, и либо не говорят, либо говорят так, что и на второй год местной жизни поди их говор разбери, польского там больше или украинского, и смотрят, смотрят все исподлобья на чужака отовсюду, как фонари здешние, лужи и балконы.

Но думал отчего-то я не столько о них, сколько о книге, оставшейся раскрытой на письменном столе комнаты второго этажа здания на Набеляка... Страх дней настолько застил мне глаза, что не складывалось все никак упомнить: а что там, кроме нескончаемого бега, было? Началось с чего? И на чем я, бишь, остановился? Где не положил закладочку, газетную вырезку с пьяной поножовщиной?..

Пекарская долго отказывалась заканчиваться, испытывая легкие мои на выносливость, пока на фоне кладбищенских ворот не просияла красная, как дом по левую руку, форма «фиата». Я переключился на шаг поровнее, в голове что-то просветлело, я вновь окинул взглядом последнюю виденную мной страницу — и вспомнилось: я остановился вместе с героем перед тем, как он сел на заднее сиденье автомобиля. Как пить дать — того самого, что на обложке!

Прекратив осматриваться по сторонам, прекратив даже моргать, я устался на красную конструкцию с четырьмя колесами, а она все росла и росла передо мной, пока не выросла наконец взамен всего. Сглотив ком и отдышавшись, я открыл заднюю дверь, закрыл глаза, влез внутрь и распахнул глаза снова.

— Ну что, сволочуга, — обратился я к Петкевичу, — через Броды уходить будем, или там неладно?

— Ладно, ладно, — лениво ответил с переднего сиденья незнакомый голос. — Через Броды. *Вброд.*

Окоченев, я посмотрел в зеркало заднего вида и понял, что этих мелких крысиных глаз знать не знаю.

Петкевич оказался не Петкевичем. И не Дидеришем даже.

Но тоже — мразь, сволочь и последний гад.

Не помню, как попытался я из того «фиата» выпорхнуть, но помню, как с обеих сторон посыпались на меня градом тумачи. Потом уже я очухался, когда мы некоторое время катили, крюк делая, то ли на Пшемьсль, то ли на Раву-Руську. Очухался оттого, что в левый мой бок уперлось нечто колющее (и, несомненно, режущее), а в правый — нечто огнестрельное. Ни того, ни другого увидеть было невозможно. Зато когда удалось раскрыть разбитые, распухшие глаза, можно было в зеркале увидеть свою рожу, но только чтобы сразу увести взгляд куда подальше.

Кепка валялась где-то в ногах, по затылку и лбу текли ровные струйки крови. Я думал: так же ли повезло герою баронессы Блажовской? Или меньше? Кто сидел за рулем ожидавшей его автомашины — немец ли, поляк или кто советский? Или все-таки кто-то свой? Странное дело, но мне и впрямь хотелось знать. Со мной все было понятно: это моя последняя автомобильная прогулка, другой не будет. Я не помнил имени героя книги (хорошо помнил только Клима Самгина), но его запомнят хотя бы другие, те, кто дочитает.

А меня никто не запомнит. И не вспомнит потом тоже никогда никто.

Кое-как приоткрыл я все же левый глаз, насколько было возможно, приподнял голову и посмотрел налево. Сначала на одного из хохлацких громил, потом в окно. Здоровяк, понимая мою беспомощность и их на меня планы, возражать не стал. «*Вообще, не самые-то и отвратные ребята,* — подумал я. — *Вопросов не задают, ответы*

кровью плевать не заставляют — спасибо и на том. Сам действовал бы в таком же точно духе».

За окном пронеслись мимо рядки оранжевых кленов, из-за которых виднелся порой на горизонте чуть-чуть нас обгонявший поезд. Отчего-то бегущий состав заставил меня думать, что герою недочитанного романа в итоге повезет, он всех перехитрит и имя свое очистит, а это как бы означало, что *моя* судьба окажется незавидной: там — книга, а тут — жизнь. В книге, я припомнил, и многое другое было совсем не так, как в жизни часто происходит.

Поодаль, между железными путями и рыжими деревьями, показалась одинокая церквушка, и тут стало мне грустнее некуда. Как начала она трезвонить, оказалось — есть куда.

Когда скрылась она за деревьями, но не звон ее, «фиат» затормозил, и я увидел еще одну машину, с друзьями моих попутчиков снаружи, и в следующее мгновение чуть не умер от страха преждевременно, раньше запланированного, когда в лобовом стекле «фиата» и во лбу лже-Петкевича появилось вдруг по дырке. Втянув ноздрями воздух, я зычно помянул мать Дидериша.

Громила по правую руку успел выругаться и ткнуть пистолетом в окно, громила по левую руку схватил меня за ворот, сильнее ткнул мне под ребра чем-то острым и велел не двигаться, но я-то не промах, я вовремя помянул мать Петкевича, нырнул на дно, как только мог, и в следующие же секунды дыр в автомашине уже было не одна, а пятьдесят одна.

Я валялся, придавленный, свернувшись от животного ужаса, и поминал мать Петкевича еще раз пятьдесят, пока Петкевич заменил в дареном своем «томми» барабан и отсыпал еще полсотни пуль друзьям моих новых друзей и их автомашине.

Церковь перестала звонить, я попробовал шелохнуться и понял, что бок мой — враг мой, смерть моя почти что верная, и, скуля от боли, весь в стекле, ошметках металлических и крови, вытолкал мертвую тушу боевого хохла, а вслед за ним вывалился сам.

Вывалиться только и хватило сил.

В нескольких метрах от меня расхаживал долговязый, в шляпе и пальто, с винтовкой через плечо, Дидериш, бахая контрольные то в один труп, то в другой, то в пятый.

— Петкевич! — призывал я гниду в ярости.

Он подошел, лысый коротышка в широченных штанах со смешными подтяжками на рубаше с закатанными рукавами (в последние-то дни октября!) и в кепке. В зубах дымила сигарка, в руке — приятель «томми».

— Вы где... — откашливаясь, пытался орать я, — были, мрази?! Я ж вам названивал больше, чем та церковь! А...

— Расслабься, — бросил мне Петкевич, подойдя. — На вот закури.

Сунул мне в рот сигарку, зажег спичку. Я и думать позабыл, что табаком угощался страх как давно.

— Зубы не заговаривай, — сказал я, затянувшись подряд дважды. — Это все, что...

— «Что», «что»... Что ты как маленький?.. — сказал он мне и полез куда-то в машину. — Ты глянь — красота какая! Сколько б мы еще такую наводили?

Бок и голова занули сильнее, я взорвался матюками и отхаркнул сигарку.

— Да ладно тебе, Олеже, — сказал он обиженно, роясь в красном решете марки «фиат». — Тебе месяц-другой перевязанным повалиться, а нам за каждой вшой отдельно не скакать. Сам-то, поди, углы срезать мастак, а-а?!

— Я вас...

— Тише, тише — кровушки много утечет! — издевался он. — Не ссы, Бровя, нормально все будет. Эй, Леонелло! Где там?..

— Едут, — ответил Дидерих.
— «Едут»?!
— Наверное, запаздывают.
— Скоро, Олеже, скоро.
— Но пуль, пуль-то столько! — не унимался я. — За каким это все... Война целая... Я же чуть... Я чуть!..

— А що, Олеже, не стоило?.. — гримасничая, сказал он, потом слез с трупа бугая, что сидел в машине по левую руку от меня, и бросил в меня чем-то легким и продолговатым. — Лучше спасибо скажи за ювелирную работу и радуйся, дурье, что говоришь сейчас со мной, а мог бы разговаривать с Андрюхой.

Не глядя, я нащупал и схватил то, что тварь эта паскудная мне кинула: легкий, сталь, лимонное дерево, рукоять львом геральдическим украшена, но зверь хватке не мешает, вызывает желание прикоснуться, более того, вызывает *уважение* — и как-то независимо от усталости, от боли, от геральдического льва, от баронесс Блажовских и ученых Поперечнюков, от всех хохлов и Петкевичей на свете, вдруг понял я две вещи, которые со мной поныне и в Москве: я никогда не пожалею, что убрался — но всегда буду рваться назад.